

Игорь Усиков

**Итоги его жизни.
(Двенадцать дней августа)**

«Издательские решения»

Усиков И.

Итоги его жизни. (Двенадцать дней августа) / И. Усиков —
«Издательские решения»,

Окончательные итоги жизни подводят не на юбилейных торжествах. Их подводят лёжа, глядя в потолок, когда оставшегося времени уже не хватает на жизнь — только на одно последнее слово. Герой романа был человеком дела — властным и всесильным «решателем», который улаживал любую проблему. Он защищал близких полным молчанием и непреклонным контролем, веря, что сила заключается в том, чтобы нести каждый груз единолично.

© Усиков И.

© Издательские решения

Содержание

Итоги его жизни	6
Пролог	7
Глава 1 Первый день, понедельник	8
Глава 2 Первый день, вечер	17
Глава 3 Второй день, вторник	21
Глава 4 Второй день, вечер	23
Глава 5 Третий день, полдень	25
Глава 6 Третий день, ночь	31
Конец ознакомительного фрагмента.	33

Итоги его жизни (Двенадцать дней августа)

Игорь Усиков

© Игорь Усиков, 2026

ISBN 978-5-0071-0825-6

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Итоги его жизни (двенадцать дней августа)

*Люди обедают, только обедают, а в это время складывается их
счастье и разбиваются их жизни.*

А. П. Чехов

Пролог

Если человек родился и жил, то однажды приходит время подводить итоги. Оно приходит ко всем. Не спрашивает, готов ли ты. Не выбирает, удобно ли. Просто наступает. Иногда на это время отпущены годы. Иногда месяцы. Иногда дни. А иногда, в самых тяжёлых случаях, минуты, и человек уже понимает, что подводит итог, и вокруг ещё никто не понимает, а он уже знает: всё, это оно.

Настоящий итог подводят не за столом. Его подводят лёжа. Когда потолок изучен до трещины, когда время считается не годами, а тем, дотянешь ли до утра. Когда всё, что казалось важным, осыпается, и остаётся только несказанное. А сказать не можешь. Потому что вместе с силой уходит и голос. И ты рвёшься изнутри, и внутри у тебя целые слова, готовые, а наружу не идёт ничего. Только хрип. Только мычание. Только глаза.

Он ещё слышит. Пока человек слышит, пока цепляется за последние слова, он ещё здесь. Ещё не ушёл. Ещё можно успеть.

Глава 1 Первый день, понедельник

В понедельник он не встал. Он проснулся в пять, как всегда, и полежал, потому что вставать было незачем, базы у него уже два года не было. Потом решил всё-таки встать, потому что лежать он не умел.

И не встал.

Он попробовал сесть. Он спустил ноги и упёрся, и ноги были нормальные, ноги слушались. А вот сесть не вышло. Как только он начинал подниматься, справа под рёбрами разворачивалось что-то и брало его в кулак, и он опускался обратно. Он полежал. Попробовал ещё раз. На третий раз он сел.

Он сидел на краю кровати минут пять и не мог встать, и рубаха у него стала мокрая, и он сидел и смотрел на свои ноги в тапках и думал, что это ерунда, что это спина, что он в четверг таскал бачки.

Нина стояла в дверях. Он не знал, сколько она там стоит.

— Вить.

— Чего?

— Ты чего?

— Ничего.

Он попробовал встать и не встал. Она смотрела.

— Иди, — сказал он. — Чего встала.

Она пошла. Он услышал, как она в коридоре набирает номер. Он сидел на краю кровати и слушал. Он подумал, что она звонит Вадьке. Потом услышал, как она говорит: «Здравствуйте», и понял, что не Вадьке. Потом она сказала адрес. Он сказал:

— Нин!

Она не пришла.

— Нина!

Она говорила из коридора. Она говорила, что не встаёт, что семьдесят один, что боли в правом боку, что нет, не пил, что нет, никогда не жаловался. Он сидел на кровати и держался за неё двумя руками.

— Нина! Ты что делаешь?

Она не пришла. Она пришла через минуту. Она вошла и стала собирать полотенце и что-то ещё, и не смотрела на него.

— Ты кому звонила?

— Скорую вызвала.

— Ты у меня спросила?

Она сложила полотенце.

— Нет, — сказала она.

Сорок восемь лет она у него спрашивала всё. Он этого не требовал, ему это было не нужно, оно само так вышло: он приходил, говорил, как будет, и так и было. Она за сорок восемь лет ни разу ничего не решила сама. Она даже холодильник в восемьдесят девятом не пошла покупать без него, стояла и ждала три недели, пока он освободится, хотя талон был у неё на руках.

А тут вызвала, не спросив. Он сидел и смотрел на неё. Он хотел сказать что-то такое, чтобы она поняла, что так нельзя. Ты в моём доме кто? Он ничего не сказал. Он сидел и держался за кровать и чувствовал, как под рёбрами разворачивается, и понимал, что, если бы он мог встать, он бы сейчас встал и отменил эту скорую.

Он не мог встать.

Вот и всё.

Она это увидела раньше него.

Скорая приехала через сорок минут. Их было двое, женщина и парень лет двадцати пяти. Женщина мерила давление и спрашивала, а парень стоял и смотрел в телефон.

— Где болит?

— Да не болит.

— Мужчина.

— Ну справа.

— Давно?

— С весны, — сказала Нина.

Он посмотрел на неё. Он ей про весну не говорил.

— Что ели вчера?

— Ничего не ел.

— А позавчера?

Он не помнил.

— Он не ест две недели, — сказала Нина.

— Нина.

— Он не ест, — сказала она женщине. — Он вилку возьмёт, поковыряет и всё.

Женщина писала.

— Так, — сказала она. — Собирайтесь.

— Куда?

— В больницу.

— Никуда я не поеду.

Она подняла голову.

— Мужчина, вам семьдесят один год.

— Я знаю, сколько мне лет.

— Вы белый весь.

— Я всегда белый. Я в тени работал.

Женщина посмотрела на него секунды три. Потом сложила манжету.

— Ну как хотите, — сказала она.

И это оказалось неожиданно. Он приготовился спорить. У него уже пошло, у него уже собралось, он уже держал в голове три хода вперёд. А спорить не стали.

— Тогда вот тут распишитесь, — сказала она.

Она достала планшет и отщёлкнула бумажку.

— Что это?

— Отказ от госпитализации.

Она протянула ручку.

— Вот тут, где галочка.

Он взял ручку. Он не стал читать. Он в жизни не читал того, что подписывал. Он подписывал накладные, договоры, акты, ведомости, он подписал за сорок лет, наверное, тысяч двадцать бумаг и прочитал из них штук пять.

Он подписал.

Женщина забрала планшет.

— Если что, вызывайте, — сказала она. — Ноль три.

— Не понадобится.

— Ну и хорошо.

Она пошла к двери. В дверях обернулась.

— Мужчина, — сказала она. — Вы всё-таки полежите сегодня.

Они уехали. Он сидел на кровати и слушал, как хлопнула входная дверь. Потом посмотрел на Нину. Она стояла у шкафа с этим полотенцем в руках.

— Нин, — сказал он.

Она молчала.

— Ты чего это делаешь?

— Вить.

— Нет, ты мне скажи. Ты чего это делаешь?

Она молчала.

— Ты меня спросила? — сказал он. — Ты у меня спросила?

— Не спросила.

— Ну вот и не делай так больше. Никогда так больше не делай.

Она положила полотенце обратно в шкаф, аккуратно, на своё место, закрыла дверцу и постояла к нему спиной.

— Хорошо, — сказала она.

И пошла на кухню. Он выиграл. Он сидел на краю кровати, весь мокрый, и чувствовал это, и ему стало легче. Он даже встал сам, без рук, дошёл до кухни и сел за стол, и Нина поставила перед ним тарелку. Он съел две ложки. Он старался. Он специально старался, чтобы она видела, и он взял третью, и на третьей понял, что не пойдёт.

Он отодвинул.

— Не лезет, — сказал он.

Нина не сказала ничего. Она стояла у плиты спиной и мыла что-то, что уже было чистое. Через полчаса его согнуло. Оно пришло не постепенно. Оно пришло сразу, целиком, и было такое, какого он не знал. Он сидел на стуле и не мог ни встать, ни сесть глубже, ни наклониться, ни выпрямиться, и он попробовал все положения, какие были, и ни одно не годилось.

Он попробовал лечь на пол. Лежать было хуже. Он стоял на четвереньках на своей кухне, между столом и холодильником, в семьдесят один год.

Нина стояла рядом и не суетилась. Она смотрела на него сверху, и он это видел, и она за все эти годы ни разу так на него не смотрела.

— Нин.

— Что?

Он дышал.

— Слушай.

Он собрался.

— А второй раз можно вызвать?

Он правда не знал. Он сорок лет знал, кому позвонить в любой ситуации в этом городе, и он не знал, можно ли вызвать скорую второй раз в один день, если первому ты подписал отказ. Он думал, что нет. Он думал, что раз отказался, то всё, что теперь ты сам.

Он думал, что это как с накладной.

— Не знаю, — сказала Нина.

— Ну ты позвони.

Она пошла в коридор. Он услышал, как она набирает. И вот это было самое тяжёлое за всё утро: он стоял на четвереньках на своей кухне и слушал, как жена набирает тот же номер, за который он её десять минут назад отчитал. Она вернулась.

— Едут, — сказала она.

— Что сказали?

— Сказали, едут.

Он стоял.

— Не ругались?

— Нет.

Вторая приехала через тридцать минут. Их тоже было двое. Первым вошёл доктор. Ему было лет шестьдесят пять, он был невысокий, лысый, с большим носом и с руками, которые

были в два раза больше, чем полагались такому росту. За ним шла девочка лет двадцати трёх, с чемоданом. Он вошёл на кухню и посмотрел на Виктора Аркадьевича, стоящего на четвереньках.

— О, — сказал он. — Здравствуйте.

— Здравствуйте, — сказал Виктор Аркадьевич.

— Не вставайте, не вставайте.

Он поставил чемодан.

— Так, — сказал он. — Мне тут коллеги передали интересное.

Он присел на корточки рядом, легко для своих шестидесяти пяти, и оказался с ним лицом к лицу.

— Значит, ты у нас утром отказался, — сказал доктор.

— Ну.

— От кареты отказался. С девушкой.

Он покивал.

— А теперь со старым армянином поедешь?

Виктор Аркадьевич смотрел на него снизу.

— Это как понимать, дорогой? — сказал доктор. — Ты меня обижаешь.

Он стал его щупать прямо там, на полу. Он щупал и приговаривал, и руки у него были горячие и тяжёлые.

— Так больно?

— Ай.

— А так?

— Ай!

— А тут?

— Слушай, ну ты...

— Тут не больно, — сказал доктор. — Тут ты просто врёшь.

Он поднялся.

— Значит, слушай меня внимательно, — сказал он. — Я тебе сейчас скажу главное.

Виктор Аркадьевич поднял голову.

— Тебе сейчас ни шашлыка нельзя, ни вина. Понимаешь, какое дело?

Он развёл руками.

— Совсем нельзя. Даже понюхать не дам.

Виктор Аркадьевич стоял на четвереньках и засмеялся. Он засмеялся, и его тут же скрутило, и он ткнулся лбом в линолеум.

— Вот, — сказал доктор. — Не смейся. Тебе тоже нельзя.

Они его подняли вдвоём с девочкой. Он оперся на них и встал, и его повело, и доктор его держал. Держал он крепко.

— Так, — сказал доктор. — Тапки где?

— Вот, — сказала Нина.

— Тапки не надо. Носки давайте. Тапки там сопрут.

Он вёл его к двери, придерживая под локоть.

— Ты вот что, — сказал доктор по дороге. — Ты сейчас там будешь сидеть долго. Сегодня понедельник, август, они там всех с моря везут. Порезался, обгорел, объелся.

Он вздохнул.

— Ты сиди спокойно, — сказал он. — Не воюй.

В машине он сел рядом. Водитель обернулся из-за перегородки, посмотрел, кивнул и завёл. Он тоже был армянин. Они все трое были армяне, и девочка тоже, и когда доктор ей что-то сказал, она ответила по-армянски.

— Слушай, Ашот, — сказал доктор водителю. — Ты представляешь, что этот человек сделал?

— Что?

— Он отказался от седьмой бригады.

Водитель посмотрел в зеркало.

— От седьмой?

— От седьмой.

— Так там же...

— Вот! — сказал доктор.

Он поднял палец.

— Там же Светлана Сергеевна.

Он закрыл глаза и подержал их закрытыми секунды три, и лицо у него сделалось мечтательное.

— Самая красивая наша, — сказал он. — Самая красивая женщина в этой службе за двадцать лет.

Он открыл глаза.

— А он отказался.

Он развёл руками.

— И поехал с тремя армянами.

Водитель захохотал. Он хохотал, глядя на дорогу, и машина при этом шла ровно.

— Э, ну так надо же исправлять, — сказал он. — Слушай, а поехали на Ахун?

— Куда?

— На Ахун. Шашлык-машлык. У меня вино есть.

Он оглянулся.

— Своё вино. Настоящее.

— Ашот! — сказал доктор.

— А что?

— Человеку нельзя вино.

— Так он же посмотрит.

— Смотреть можно, — согласился доктор.

Он повернулся к Виктору Аркадьевичу.

— Смотреть я тебе разрешаю, — сказал он.

Виктор Аркадьевич лежал на носилках, и его везли, и внутри у него разворачивалось и сжималось, и он всё равно поймал себя на том, что улыбается. Он не понимал, как они так могут. Они везли человека, у которого что-то в животе, и, судя по лицу этого доктора, там было плохо. Он же видел, как тот щупал. Он всё видел.

И они шутили про шашлык. Он всю жизнь думал, что весёлые люди ничего не понимают. Он их немного презирал. Он считал, что, если человек шутит, значит, он не в теме, а кто в теме, тому не до шуток. Он лежал и смотрел на этого доктора и понимал, что тот в теме больше, чем он.

Потом доктор посмотрел на него. Он посмотрел и помолчал.

— А ты чего до августа тянул? — сказал он.

Виктор Аркадьевич лежал.

— Так работа, — сказал он.

Доктор кивнул.

— Ага, — сказал он. — Работа.

Он отвернулся к окну. Больше он не шутил. Всю дорогу он смотрел в окно, и один раз что-то сказал девочке, тихо, по-армянски, и та кивнула и записала. Виктор Аркадьевич смотрел на него сбоку. Приёмный покой был забит. Он этого не ожидал. Он последний раз был в больнице

в две тысячи одиннадцатом, когда сломал палец, и там было пусто и сонно, и он вошёл и через двадцать минут вышел.

Сейчас там сидели человек тридцать. Это были отдыхающие. Он их узнал сразу, с первого взгляда, потому что прожил тут семьдесят один год и научился отличать за секунду. Красные плечи. Шлёпки. Мокрые волосы у детей. Женщина в парео поверх купальника. Мужик с расчёсанными бровями и в мокрых плавках, у него на коленях сидел ребёнок и ел мороженое.

Двое подростков с обгоревшими спинами. Женщина, которую тошнило в пакет, и рядом с ней муж, который держал этот пакет и одновременно разговаривал по телефону про то, что они не успеют на ужин. Кто-то с ногой, кто-то с рукой. Мальчишка лет семи ревел на всю приёмную, потому что ему обрабатывали колено.

Он всю жизнь на них работал. Двадцать два года он снабжал санатории, чтобы вот эти вот приезжали и жили. Он доставал им простыни, на которых они спали, и кафель, который у них был в душевой, и посуду, из которой они ели. А тридцать лет Нина стирала за ними в их собственном дворе.

И вот он сидел среди них на клеёнчатом диване, в трениках, в тапках на босу ногу, и никто из них на него не смотрел, потому что у каждого было своё. Доктор довёл его до дивана и посадил.

— Сиди тут, — сказал он. — Я бумаги сдам и приду.

И ушёл куда-то вбок, в коридор. Виктор Аркадьевич посидел минуту и встал. Он дошёл до окошка нормально, почти нормально, придерживаясь за стену один раз. В окошке сидела девушка.

— Фамилия.
— Пахомов.
— Имя-отчество.
— Виктор Аркадьевич.
— Полис.

Он посмотрел на неё.

— Какой полис?
— Медицинский.

Полиса у него не было. То есть он был, он где-то был, он лежал дома, наверное, в той коробке, где документы на машину. Он его в жизни ни разу не доставал.

— Нин, — сказал он.

Нина стояла сзади.

— Я не взяла, — сказала она.
— Как не взяла?
— Вить, я полотенце взяла.
— Паспорт есть? — сказала девушка.

Паспорта тоже не было. Девушка вздохнула.

— Присаживайтесь пока. Вас вызовут.
— Как вызовут?
— По очереди.

Он стоял у окошка и смотрел на эту девушку через стекло, и в первый раз за сегодня у него внутри что-то поднялось знакомое, рабочее, привычное. Он наклонился к окошку.

— Девушка, — сказал он. — Слушайте.

Она подняла глаза.

— Мне надо к врачу, — сказал он. — Я быстро. Мне только посмотреть.
— Всех надо к врачу, — сказала она.
— Я понимаю. Я не спорю. Просто у меня...

Он замолчал, потому что не знал, что у него.

— Я местный, — сказал он.

Она посмотрела на него.

— И что? — сказала она.

Он стоял у окошка, наклонившись, восьмой десяток, в трениках, с мокрой спиной, держался за подоконник и не знал, что сказать дальше. Он не знал, что сказать. Он сорок лет знал, что сказать. Он приходил в любой кабинет в этом городе и через четыре минуты выходил с тем, за чем пришёл, и никогда, ни разу, ни в одном кабинете он не стоял вот так.

Он не сумел даже сформулировать.

— Присаживайтесь, — сказала девушка. — Вас вызовут.

И стала смотреть в монитор. Он сел на клеёчатый диван между женщиной с пакетом и подростком с обгоревшей спиной, и подросток отодвинулся.

Нина села рядом. Он сидел и думал: кому позвонить. Он это делал автоматически, он это делал всю жизнь. Любая задача сводилась к одному вопросу: через кого. Он стал перебирать. Гурген. Толик. Серёга, который возит. Гена с Мамайки. Костя. Кто из них имеет отношение к больнице? Никто.

Он перебрал всех, кого знал в этом городе, и в этом городе он знал полторы, наверное, тысячи человек, и любому из них он мог позвонить в час ночи, и любой бы взял трубку. Ни один из них не имел никакого отношения к медицине, или он этого просто не знал.

Он сидел на клеёчатом диване и понимал. Он заходил везде: в управление, в порт, на многие стройки в городе, в санатории, в исполком, в полицию, в военкомат. Он везде имел своего человека. Оно само так выходило, потому что доставал, и его помнили. А сюда не заходил. Он не болел.

Он за семьдесят один год не болел ни разу серьёзно, и ему тут ничего никогда не было нужно, и он сюда просто не ходил. И теперь у него тут не было никого. Доктор вернулся минут через десять. Он шёл по приёмному покою со своей папкой, и Виктор Аркадьевич смотрел на него и вдруг увидел странное.

С ним здоровались. Пока он шёл эти двадцать метров, с ним поздоровались трое: мужик в халате, тётка со шваброй и охранник у входа. Охранник даже встал. Доктор подошёл к окошку. Он наклонился и что-то сказал. Девушка подняла голову. И расцвела. Виктор Аркадьевич сидел на диване в пятнадцати метрах и смотрел.

Он видел, как у неё сделалось приятное лицо. Оно за секунду перестало быть служебным. Она заулыбалась, и что-то ему сказала, и он ей ответил, и она засмеялась и махнула рукой. Та самая девушка. Ей десять минут назад было всё равно, что он местный. Доктор что-то сказал ещё. Он говорил секунд двадцать, и один раз показал подбородком в сторону дивана, и девушка посмотрела туда, на Виктора Аркадьевича, и опять на доктора.

Она кивнула. И Виктор Аркадьевич услышал, потому что она сказала это громко:

— Для вас сделаю.

Доктор пошёл к выходу. По дороге он свернул к дивану.

— Всё, — сказал он. — Сиди спокойно.

— Слушай...

— Не воюй, — сказал доктор.

И ушёл. Через семь минут его вызвали. Смотровая освободилась, оттуда вышла женщина с ребёнком, и девушка из окошка встала и сказала на весь зал:

— Пахомов!

Он встал. По приёмному покою пошло.

— Так мы же раньше, — сказала какая-то женщина.

— Мы с одиннадцати сидим!

— А чё это он?

Кто-то встал. Девушка вышла из-за стекла. Она вышла, встала посреди зала и сказала:

— Товарищи. Он по скорой.

Она сказала это спокойно, ровно, и она это, наверное, говорила по несколько раз в день.

— Кто по скорой, тех вне очереди. Садитесь.

И все сели. Она пошла с ним до двери смотровой. Она шла рядом, придерживая его за локоть, и на середине пути наклонилась к нему. Она наклонилась и сказала ему на ухо, тихо:

— Мы же сочинцы. Должны друг другу помогать.

Виктор Аркадьевич встал в дверях. Он стоял и смотрел на неё. Он сорок лет говорил эту фразу сам: в кабинетах, на складах, на площадках, в тапках на лестнице, с бутылкой, которую не брал. Он говорил её людям, которым доставал кафель, и людям, которым доставал путёвки, и Гургену, когда давал ему трубу.

Он говорил: мы же свои. Мы же тут все свои. Надо помогать. И вот ему сказали то же самое. Сказала девочка из окошка, которой десять минут назад было на него плевать. Фамилия Пахомов тут была ни при чём. За него попросил весёлый армянин, которого он видит первый раз в жизни и чьего имени не знает.

Он вошёл в смотровую. Врач был молодой. Он щупал ему живот минуты три, и в какой-то момент нажал, и Виктор Аркадьевич сказал что-то, чего сам не понял. Врач убрал руки.

— Так, — сказал он.

Он стал писать.

— Что «так»?

— Мы вас госпитализируем.

— В смысле?

— Кладём. Сейчас наверх.

— Погодите, — сказал Виктор Аркадьевич.

Врач писал.

— Мне домой надо.

— Не надо вам домой.

— Мне надо. У меня дела.

Врач поднял голову. Он посмотрел на него секунды две.

— Виктор Аркадьевич, — сказал он. — Нет у вас никаких дел.

Он сказал это не грубо, а устало, и имел в виду совсем другое: что дела подождут. Но он сказал: нет у вас никаких дел. И это оказалось правдой. Наверх его повезли в четвёртом часу. Каталку катил санитар, крупный парень, и катил быстро, и на повороте у лифта каталка стукнулась о косяк.

— Осторожно, — сказал Виктор Аркадьевич.

— Ага.

В лифте они ехали молча. Виктор Аркадьевич лежал и смотрел в потолок лифта, и потолок был железный, и в нём была лампа за решёткой, и решётка была погнутая.

— Слушай, — сказал он.

— А?

— А ты давно тут?

— Четыре года.

— А палаты какие?

Санитар посмотрел на него сверху.

— В смысле?

— Ну, палаты. Есть которые получше?

Санитар помолчал.

— Платные есть, — сказал он.

— А так?

— А так какая будет.

Лифт открылся. Виктор Аркадьевич лежал на каталке и смотрел на этого парня снизу вверх.

— Слушай, — сказал он. — Ты меня в какую положишь?

— Я не кладу. Я вожу.

— Ну ты же знаешь.

— Знаю.

— Ну?

Коридор был длинный, и лампы шли по потолку одна за другой, и Виктор Аркадьевич смотрел, как они проплывают.

— В седьмую, — сказал санитар.

— А седьмая какая?

— Обыкновенная.

— Слушай.

Виктор Аркадьевич собрался. Он повернул голову и посмотрел на него, и он умел так смотреть, он этим взглядом сорок лет открывал двери.

— А можно как-то, чтоб получше?

Санитар катил и смотрел вперёд, здоровый, четыре года тут, и вёз таких по восемь штук в день.

— Не.

Он сказал это спокойно.

— Не могу, — сказал он.

И всё. Виктор Аркадьевич лежал на каталке и смотрел, как проплывают лампы. Ему за семьдесят один год никто ни разу не сказал «не могу». Ему говорили: сейчас посмотрим. Ему говорили: дорого будет. Ему говорили: через неделю. Ему говорили: Виктор Аркадьич, ну ты же понимаешь. Ему ни разу не сказали «не могу» и не поехали дальше.

Седьмая палата была в конце коридора. Восемь коек. Его переложили на седьмую, у двери, и санитар свернул простыню, кивнул и ушёл. Он лежал на спине, потому что на бок было нельзя, и смотрел в потолок. Потолок был крашеный, и на нём были трещины. Где-то работал телевизор. Кто-то храпел.

За стеной, справа, разговаривали женщины. Он лежал и думал, что завтра надо будет узнать, кто тут заведующий. Просто узнать фамилию. Дальше он найдёт. Он всегда находил.

Глава 2 Первый день, вечер

Домой она приехала в шесть. Её отправили. Ей сказали: женщина, идите, вы тут ничем не можете, привезите вещи к завтрашнему. Она сказала: а сегодня? Ей сказали: сегодня он на первичном осмотре, потом наверх, идите. Она вышла из больницы и постояла на ступеньках, потому что не поняла, куда идти.

Автобус был там же, где всегда. Она открыла дверь и вошла. В прихожей стояли его туфли. Он их снял в субботу, когда пришёл из аптеки, и поставил не туда, куда надо, а как всегда, боком, и она сто раз ему говорила. Она их поправила, носками к стене, и постояла над ними.

Кухня была как утром. На столе стояла его тарелка с ложкой. Она её не убрала, потому что приехала скорая, и потом вторая, и потом она поехала с ним, и всё это заняло полдня. Каша присохла. Она отнесла её в мойку и налила воды. Она села на табуретку у стола и просидела минут двадцать, не двигаясь и ни о чём не думая, а это с ней не бывало никогда.

Всю жизнь у неё в голове что-то шло: список, чей стакан, кому позвонить, что не забыть. Столько лет фоном работала эта машина. Сейчас машина стояла. За окном был двор, и во дворе было пусто. Флигель стоял закрытый. В этом году они не брали. Он сказал в апреле, буднично, между делом, за чаем: не бери в этом году, Нин.

Она сказала: как не брать? Он сказал: ну так. Отдохни.

Она тогда не отдыхать испугалась. Она достала книжку сберкассы и посчитала, сколько там, и вышло, что хватит с запасом, и ей от этого не полегчало, а стало ещё тревожнее: если хватает, а он всё равно не берёт постояльцев, значит, дело в другом.

Она про себя решила: значит, что-то другое. Значит, база у Вадьки не идёт, и он не хочет говорить. Она это для себя так и закрыла, аккуратно, как закрывают банку, и не открывала больше. Тридцать лет с июня по сентябрь у них во дворе жили чужие люди.

Приезжали в июне, уезжали в сентябре, и всё лето она стирала, и вешала, и снимала, и опять стелила. Она за тридцать лет перестирала столько чужих простыней, что, если бы их разложить, они бы легли отсюда до Москвы. Она уставала так, что к августу переставала различать лица постояльцев. А в этом году двор стоял пустой.

Она в июне первую неделю просыпалась в шесть, потому что тридцать лет вставала в шесть, и шла к окну, и во дворе никого не было, и она возвращалась и лежала до восьми. Она отдыхала. Он ей сказал: отдохни. Он знал в апреле. Он сидел вот тут, за этим столом, пил чай и говорил: не бери в этом году, Нин, отдохни. Уже тогда знал, что будет лето, в котором ей не надо будет стирать за чужими.

Он ей давал последнее лето. И даже это не сказал прямо, а завернул в другое слово, потому что прямо он не умел никогда, ни с ней, ни, наверное, ни с кем. Она встала и пошла собирать сумку. Сумку она достала с антресоли, ту самую, синюю, спортивную, с которой он ездил в командировки в девяностые. Она пылилась там много лет.

Она её протёрла и поставила на кровать, потом встала над ней и не знала, что класть. За столько лет она собрала ему, наверное, три сотни таких сумок, наизусть: две рубашки, бритва, носки четыре пары, полотенце, кипятильник, кружка. Она делала это не думая, руки шли сами. А сейчас стояла и не могла вспомнить порядок.

Она положила две рубашки, потом убрала одну, потом достала обратно. Носки положила четыре пары и остановилась, держа их в руке. Она подумала: а зачем ему носки. Он лежит. Ему носки не нужны. Она положила их обратно в сумку. Все четыре. Бритву она нашла в ванной, на полке, где та стояла всегда, рядом со станком с засохшей пеной, потому что он не мыл его никогда, только ополаскивал и клал.

Она взяла бритву в руку и стояла с ней. Он брился каждое утро сорок восемь лет, у зеркала, и всегда мурлыкал один и тот же мотив, коротенький, три ноты вверх и одна вниз. Она слышала этот мотив каждое утро своей взрослой жизни. Она так и не узнала, что это за песня.

Она ни разу не спросила.

Это было странно, когда она об этом подумала сейчас: ни разу за годы их брака не спросить. Спросить значило бы впустить его в свою привычку спрашивать, а у неё самой было кое-что, о чём её никогда не спрашивали, и она давно решила так: раз она молчит про своё, пусть и он про своё помолчит.

Она положила бритву в сумку и всё-таки села на край ванны. Он не будет бриться. Он лежит. У него трубка. Бритва ему не нужна, её даже не дадут, наверное. Она посидела с этим и всё равно оставила бритву в сумке. Она собирала полтора часа сумку, которую всегда собирала за десять минут.

Она положила туда рубашки, носки, бритву, полотенце, зубную щётку, тапочки, кружку, ложку, три яблока, сахар в пакетики, вафли, которые он любил, зарядку от телефона и его очки. Очки она держала в руках дольше всего. Сумка вышла тяжёлая. Она стала вынимать: яблоки, потом вафли. И положила обратно и то, и другое.

Застегнула и понесла. В больницу она приехала в двадцать минут девятого. Лифт не пришёл, она подождала с минуту и пошла пешком, на четвёртый, с сумкой, и сумка на середине пути стала тянуть руку так, что пришлось переложить её в другую. Двери в отделение были закрыты. Там был звонок. Она позвонила, подождала, позвонила ещё раз, и вышла девочка в халате, лет двадцати трёх.

— Вы куда?

— Я к мужу. Пахомов. Его сегодня положили.

— Приёмные до восьми.

Нина Тимофеевна стояла с сумкой.

— Я вещи привезла, — сказала она.

— Давайте, я передам.

— А можно я сама?

Девочка посмотрела на неё.

— Нельзя, — сказала она. — Уже отбой скоро.

— Я на минуту.

— Женщина.

Нина Тимофеевна держала сумку двумя руками.

— Я его сегодня утром...

Она не договорила. Девочка вздохнула.

— Давайте сумку, — сказала она. — Я ему прямо сейчас отнесу. Скажу, что вы приехали.

Она отдала сумку. Девочка её взяла, и та перевесила её на бок, потому что была тяжёлая.

— Ой, — сказала девочка. — Вы ему что, кирпичей наложили?

Нина Тимофеевна не улыбнулась.

— Там вафли, — сказала она. — Он вафли любит, с орехом. Вы скажите, что там вафли.

— Скажу.

Дверь закрылась. Она постояла на площадке, потом нажала кнопку без всякой надежды, просто по привычке. Лифт пришёл сразу. Она стояла и смотрела на открывшиеся двери, и ей стало почти обидно: наверх тащилась пешком с тяжёлой сумкой, а вниз, налегке, пожалуйста. На улице было темно и жарко. Автобусы уже ходили редко.

Дома она была в половине одиннадцатого. Она сняла туфли, поставила рядом с его, пошла на кухню, поставила чайник и достала две кружки. Она достала их и поставила на стол, и налила в одну, и потянулась за заваркой, и остановилась. Кружки стояли рядом. Она смотрела

на них секунд десять, потом убрала вторую обратно в шкаф, закрыла дверцу, и после этого стояла посреди кухни минут пять.

Чай остыл. Она его вылила. Постель она не перестилала с утра: подушка лежала так, как он её вечером мямл. Он всегда складывал её вдвое и подсовывал под щеку. Она сняла всё и постелила чистое, машинально, тридцать лет по восемь раз за лето, руки помнили сами: угол, угол, натянуть, подоткнуть.

Простыня легла без единой морщины. Потом взяла его подушку, взбила, положила на его сторону, разгладила, подоткнула одеяло с его стороны тоже. Она это заметила, только когда уже подоткнула: стоит и смотрит на кровать, застеленную на двоих. Она постелила ему. Постояла, подумала: ну и пусть. Пусть лежит. Завтра она его привезёт, и всё будет.

Она это подумала совершенно ясно и совершенно спокойно, и она в это верила, стоя вот тут, в половине двенадцатого ночи, в первый день. Она легла на свою сторону, у стены, накрылась. Свет не выключила. Дом был тихий. Он вообще был тихий, они с ним последние годы жили тихо: телевизор он смотрел без звука, она читала. Могли не разговаривать по полдня, и это не было плохо, это было просто так.

А сейчас было по-другому. Он всю жизнь дышал шумно, спал на спине, иногда всхрапывал, она его толкала, он поворачивался и переставал на десять минут, а потом опять. Столько лет она засыпала под это и столько лет думала, что оно ей мешает. Тишина была полная, и она не могла вспомнить, когда в этой комнате было так же тихо. Может, никогда. А может, забылось за годы его храпа.

Она пролежала часа полтора, вставала на кухню, пила воду, возвращалась, ложилась, вставала опять. В третьем часу она сама не поняла, как оказалась на его подушке, ничем не пахнущей, потому что сама постелила чистую. Она лежала на его стороне и смотрела в потолок. Ей было восемнадцать. Клавдия Романовна вела хор при клубе моряков.

Нина Тимофеевна не вспоминала это лет тридцать. Забыть не забыла, просто убрала, как убирают вещь в дальний ящик и перестают знать, что она там есть, хотя знают. У неё был низкий голос, грудной, и Клавдия Романовна на втором занятии остановила весь хор и сказала: а ну, ты одна, с начала. Она тогда ещё не была Пахомовой, но в памяти это осело так с самого начала.

Она спела с начала. В зале стало тихо, и это была не та тишина, что от скуки. Клавдия Романовна потом полгода с ней занималась отдельно, после общих спевок, бесплатно, и говорила: у тебя редкий голос, такой не в каждой консерватории найдёшь, тебе надо в Ленинград. У неё была знакомая в Ленинграде, при училище, которая брала таких по рекомендации, минуя общий конкурс, и Клавдия Романовна написала ей письмо, и получила ответ, и ответ был: пусть приезжает, прослушаем, место найдём.

Письмо это лежало у неё дома. Оно и сейчас лежит. Она забеременела Вадькой осенью семьдесят восьмого, уже замужем.

Свадьба была в мае, и письмо от знакомой Клавдии Романовны пришло тем же летом, через два месяца после свадьбы. Она не помнила уже в точности, в какой день оно пришло, но помнила, что держала его на кухне и думала: ещё можно, он поймёт, это же не насовсем, это на два года.

Осенью она поняла, что беременна. Она про это никому не сказала, ни матери, ни Клавдии Романовне, ни тем более Виктору, что вообще выбирала. Она просто перестала ходить на занятия. Клавдия Романовна прислала одну записку через соседку: заболела, что ли? На этом всё и кончилось. В июле следующего года родился Вадька.

Письмо она не выбросила. Она сложила его в жестяную коробку из-под чая, где хранила документы на дом, и коробка стояла на антресоли, там же, где сумка, все эти годы, и Виктор её ни разу не открывал, потому что она была его не касается, там были её девичьи бумаги, метрика, справка об окончании курсов кройки.

Он думал, там кройка. Она не пела больше никогда. То есть пела, конечно: когда мыла посуду, вполголоса, себе, и обрывала на середине фразы, если он входил в кухню. Она сама не замечала, что обрывает. Просто он входил, и голос сам гас, как гасят свет, выходя из комнаты. За столько лет он ни разу не слышал, как она поёт целиком.

В восемьдесят шестом она спросила про Ленинград.

Она стояла в дверях с полотенцем, и это не было про отпуск, хотя вышло так, что он понял именно так. Она тогда за месяц до этого встретила старую знакомую из хора, и та сказала: а Клавдия Романовна умерла, в прошлом году, ты знала? И у неё внутри что-то дёрнулось, и она подумала: может, ещё не поздно, может, хоть посмотреть, хоть спросить, есть ли ещё это училище, эта комната, тот зал.

Она не смогла сказать это словами. Она сказала: Вить, а в Ленинград? Он сказал: на следующий год обязательно. На следующий год он раздал двенадцать путёвок. Она лежала на его подушке в третьем часу ночи и думала не про то, что он не свозил её к морю, которое у них и так было под окнами.

Она думала про письмо в жестяной коробке. Она думала: если сейчас встать, дойти до шкафа, снять коробку, письмо там будет лежать, пожелтевшее, свёрнутое, и на нём будет обратный адрес, которого давно нет на карте, потому что училище то теперь называется по-другому. Она не встала. Она подумала про Ривьеру, ни с того ни с сего, лёжа тут.

Ей было девятнадцать. Она стояла у ограды с Валькой, и та ей что-то говорила, а она слушала вполуха, потому что уже минут сорок видела боковым зрением, что там курит парень и смотрит на неё. Он курил, смотрел, опять курил, и уже кончалось всё, а она подумала: ну и дурак.

Она увидела, как его толкнули. Она это очень хорошо запомнила. Там стоял здоровый, огромный, армянин какой-то, и он ему что-то сказал, и тот замотал головой, и тогда здоровый толкнул его в спину. Как следует толкнул. Он вылетел прямо на неё, чуть не сшиб, и она сказала: осторожнее, мужчина.

Он потом всю жизнь рассказывал, что подошёл сам. Он это рассказывал за столом, гостям, детям, всем: я тогда сразу решил и подошёл, я увидел и всё, вопрос был решён. Он в это верил совершенно искренне все эти годы. Она ни разу не сказала.

Сначала молчала, потому что неудобно при людях. Потом молчала, потому что поздно уже. А потом стало понятно, что говорить нельзя вообще никогда, потому что это единственное во всей его жизни, что он, как он считает, сделал сам, без всяких там, просто взял и решил. Всё остальное он выбивал, доставал, договаривался. А тут увидел и подошёл.

Она лежала и думала, что это одна и та же рука. Рука, которой она столько лет не давала себе сказать правду про Костин толчок. И рука, которой она столько лет не давала себе достать письмо из жестяной коробки. Она умела молчать про других. Она даже не заметила, когда научилась молчать про себя.

Она уснула в пятом часу. Свет так и остался гореть, и коробка так и осталась стоять на антресоли, за той самой сумкой, которую она полтора часа собирала не думая.

Глава 3 Второй день, вторник

Ночь прошла рывками. Он засыпал минут на двадцать и просыпался. Один раз дед у окна, возвращаясь из туалета, зацепил его тумбочку и извинился шёпотом. Виктор Аркадьевич не ответил: не сразу понял, где находится.

К шести он лежал с открытыми глазами и слушал, как в коридоре катят что-то на колёсиках. Бок не отпустило. Он уже различал эту боль: вот тянет ровно, а при повороте коротко простреливает. В восемь пришла Тамара Ивановна.

Она поставила штатив, и Виктор Аркадьевич подал руку сам. Вену нашла с одного раза. Игла вошла легко, пластырь лёг ровно, без единой складки.

— Ловко, — сказал он.

Она уже писала на бирке дату. Он посмотрел на её короткие пальцы, на потемневшее обручальное кольцо и сказал:

— Як для сэбэ.

— Что?

— Ничего.

Она не поняла и пошла к соседней койке. Объяснять он не стал. Это было первое, что он здесь одобрил.

В половине девятого начался обход. Виктор Аркадьевич услышал его издали: голоса, шарканье, скрип колеса в коридоре. Лев Петрович вошёл первым, за ним две девушки в белом и парень с папкой.

К седьмой койке врач подошёл в девять с чем-то. Виктор Аркадьевич уже приподнялся на подушке. За жизнь он усвоил: когда к тебе подходит человек, от которого зависит вопрос, надо сидеть, а не лежать. Лежачего меньше слушают.

Лев Петрович читал лист секунд пятнадцать. Виктор Аркадьевич за это время прочитал его лицо. Усталое, но не грустное: лицо человека, который встал рано, ляжет поздно, а между этим будет много одного и того же.

— Как самочувствие?

— Терпимо.

— Боль есть?

— Есть.

Виктор Аркадьевич показал где. Лев Петрович щупал медленно и молча. В одном месте задержал пальцы секунды на три. По лицу не прошло ничего, и это было хуже, чем если бы прошло.

— Ну как? — спросил Виктор Аркадьевич.

— Понаблюдаем.

— А что там?

— Пока рано говорить.

Врач записал несколько слов. Виктор Аркадьевич попытался прочитать вверх ногами, но почерк был врачебный.

— Лев Петрович, сколько я тут проваляюсь?

Врач посмотрел на него секунды две. Человек подбирал слова, чтобы не сказать лишнего раньше времени.

— Обследуем сначала. Тогда скажу конкретно.

— Ну хоть примерно.

— Я вам не буду гадать, Виктор Аркадьевич.

Он сказал это твёрдо, но не грубо, и пошёл дальше. Виктор Аркадьевич разобрал разговор на части. «Пока рано» означало: уже что-то видно, но бумаги ещё нет. «Не буду гадать» —

гадать есть о чём, и выходит нехорошо. Он и сам всю жизнь говорил людям: пока рано, дособерём документы. Говорил, когда вопрос уже решён, но произносить решение вслух было нельзя.

Лев Петрович делал то же самое. Только с другой стороны.

В десять Тамара Ивановна сказала, что в двенадцать его повезут на УЗИ.

— А зачем?

— Доктор назначил. Значит, надо.

Такой ответ его не устраивал. Он спрашивал про причину, ему отвечали про порядок действий. Здесь вопрос «зачем» уходил следом за врачом в следующую палату.

К двенадцати пришли с каталкой. Он попробовал встать сам и не смог: бок прострелило, рубаха сразу прилипла к спине. Парень молча подставил каталку ближе.

На УЗИ его смотрели минут пятнадцать. Монитор был повернут от него. Врач водила датчиком, один раз тихо назвала медсестре аббревиатуру и снова замолчала.

— Ну что там?

— Результат отдадут лечащему врачу. Он вам скажет.

Обратно его везли теми же коридорами, под теми же лампами. К вечеру пришла Тамара Ивановна ставить капельницу.

— А результат?

— Завтра на обходе скажут.

— Сегодня нельзя?

— Лев Петрович в операционной.

Она сказала это как о погоде. Виктор Аркадьевич спросил потому, что деловой человек должен добиваться ответа. А внутри обрадовался: сегодня не скажут. До завтра можно ещё побыть человеком, а не диагнозом.

За день он не решил ни одного вопроса. Только ждал: врача, УЗИ, результата. В погранвойсках, в Кушке, он тоже ждал приказов, смены, писем. Тогда было проще: солдат ждёт, это его работа.

Теперь ему было семьдесят один год, и ждать давно перестало быть его работой. Он посмотрел на трещину над розеткой, которую уже выучил за два дня, и стал ждать завтрашнего обхода.

Глава 4 Второй день, вечер

Вадим Викторович приехал с базы к семи. За день он не присел: перепутали количество паллет, Славик перекрыл проезд, порвался строп. На манжете засохла цементная пыль. Домой переодеваться он не поехал — на Курортном стояли от развязки.

В палату вошёл в двадцать минут восьмого. Отец лежал высоко, на двух подушках. За сутки он изменился несильно, но Вадим на пороге сбился с шага. Лицо стало подобранным, как у человека в приёмной, который ждёт, когда назовут его фамилию.

— О, — сказал отец. — Приехал.

— Приехал.

Вадим сел на высокую табуретку, на самый край.

— Ну как ты?

— Нормально.

— Что сказали?

— Ничего. УЗИ делали. Завтра, говорят.

Они помолчали. Всю жизнь разговаривали про базу, доску, цены, Славика, пробки и ворота. Теперь всё это не годилось.

— Пап, я тут узнавал. Есть платная палата. Одноместная, на этом же этаже. Санузел, холодильник, кондиционер. Приходить можно когда хочешь.

Отец смотрел в потолок.

— Я договорился уже, — добавил Вадим. — Хоть завтра.

— С кем?

— Через Толика вышел на человека в администрации.

Он сказал «договорился», хотя договариваться было не о чем: палата была свободна, надо было только заплатить. Но Вадим всю жизнь говорил именно так — будто любой вопрос сначала приходилось вырвать у мира.

— Не надо, — сказал отец.

— Пап, там тихо. Тут восемь коек, дед тебе спать не даёт.

— Даёт.

— Там кондиционер.

— Мне не жарко.

— Здесь тридцать два.

— Нормально.

— Я же для тебя. Что ты упёрся?

— Я не барин, Вадь.

У Вадима оставался последний довод, тот, который обычно заканчивал спор.

— Я уже заплатил.

Отец повернул голову. Впервые за вечер лицо у него стало настоящим.

— За сколько дней?

Вадим не сразу понял вопрос. Потом почувствовал, как горит шея. При оформлении его спросили о сроке, и он сказал: на неделю. Потом продлим, если что.

— На неделю, — ответил он. — Потом продлим.

Отец медленно кивнул, отвернулся к потолку и больше про палату не сказал.

Руки у него лежали поверх одеяла. Вадим знал эти руки всю жизнь: ими отец затягивал хомут, брал его за шкурку, показывал, как держать уровень. На большом пальце с семидесятих был расколот ноготь. Сейчас руки ничего не делали. За сорок семь лет Вадим ни разу не видел их просто лежащими.

— Ворота-то так и вело? — спросил отец.

— Вело.

— Я тебе говорил: косяк менять надо.

— Поставлю. Осенью.

— Осенью, — повторил отец.

Вадим встал и неловко потянул одеяло.

— Да не трогай. Люба поправит.

— Кто?

— Санитарка.

В коридоре Вадим постоял у окна, потом позвонил человеку из администрации.

— Мы палату пока занимать не будем.

— Деньги вернуть?

— Не надо. Пусть висят.

Он мог забрать их, но оставил палату за отцом на неделю — на всякий случай. И только убрал телефон, понял, что здесь означали эти слова.

Домой он ехал через ту же пробку и перебирал отцовское упрямство. Остановился на простом: отец не хотел, чтобы за него платили. Он всю жизнь платил сам — за Вадима, Марину, Тимку, Даньку, за мать — и никогда не считал вслух. Теперь он был не тем, кто даёт, а тем, кому дают.

Мысль вышла правильная, стройная и потому успокоила. Вадим ошибался ровно наполовину. Вторую половину отец никому не скажет.

Дома Лена спросила, как он.

— Нормально. Обследуют.

— А палата?

— Отказался.

Лена сказала: «Он всегда такой был», — и ушла спать. Вадим остался на кухне. Он думал про ворота, которые второй год держались на временной распорке. Отец говорил: меняй косяк целиком. Вадим откладывал.

Он представил, как осенью приедет техника, вырежут старый косяк, поставят новый, и створки пойдут ровно, без скрипа. Потом он позвонит отцу и скажет: пап, всё, поставил.

И между делом понял, что звонить, возможно, будет некому. Не у койки понял и не тогда, когда врач подбирал слова. На кухне, из-за ворот.

Он посидел ещё немного и пошёл спать. Осень была ещё не скоро.

Глава 5 Третий день, полдень

Пить хотелось с шести утра. Ему разрешили полтора литра в сутки, и он выпил свои полтора к десяти, потому что не рассчитал. Теперь оставалось лежать и слушать, как в горле сохнет. Стакан стоял на тумбочке пустой. Он его не убирал. Пустой стакан на виду был честнее, чем полный.

В палате трети сутки стояло пекло. Корпус был старый, кондиционеров не полагалось, вентилятор стоял один, на посту, и к полудню воздух в палате густел и не двигался. Окно открывали только на пятой койке и только когда дед у окна засыпал. Дед просыпался, начинал кашлять и требовать закрыть. Окно закрывали. Виктор Аркадьевич поймал себя на том, что дышит ртом.

Где-то за окном орали чайки. Они орали здесь всю его жизнь, и он их не слышал лет пятьдесят, а теперь слышал каждую. Шёл август. Сорок лет он в августе не спал. В августе всё горит, всё кончилось, всё нужно вчера, и телефон не замолкает с шести. Он это ненавидел и без этого не мог, и в сентябре ходил пустой, пока не начиналось опять.

Сейчас был август, и он лежал. Седьмая палата, мужская. Восемь коек. Его койка была седьмая, у двери. За стеной была шестая, женская. Стена между ними шла тонкая, и всё, что говорилось там, было слышно здесь, и наоборот, и об этом никто никогда не вспоминал вслух.

Вадим два дня уговаривал его перейти в платную. Одноместная, санузел, холодильник. Сын говорил про это уже решённым голосом, оставалось только перенести тумбочку. Виктор Аркадьевич слушал про холодильник и слышал другое. Сын не хотел, чтобы отец лежал в восьмиместной. Сын хотел, чтобы было прилично. А прилично бывает тогда, когда уже понятно, чем кончится.

Он сказал, что не барин. Это была неправда, и сын, наверное, понял, что неправда. Но другого у Виктора Аркадьевича не нашлось. Сказать сыну то, что он услышал, значило это подтвердить.

Вадим пожал плечами и ушёл звонить. Обед привезли в двенадцать. Тележка гремела в коридоре минуты три, и все в палате её слышали, и все делали вид, что не слышат. Это было единственное событие дня. Утром обход, вечером выключат свет, а посередке обед. Больше в сутках ничего не происходило.

Раздавала не Люба. Раздавала какая-то новая, полная, в маске, и она ставила тарелки на тумбочки быстро и молча, и на седьмую поставила, не посмотрев. Суп. Что-то серое с перловкой. Хлеб. Виктор Аркадьевич посмотрел на тарелку и понял, что не будет. Есть он мог что угодно, он в семьдесят четвёртом ел такое, что здешний суп сошёл бы за праздник. Просто исчезло место, куда это класть. Внутри было занято чем-то другим, и еда туда не помещалась.

Он отодвинул тарелку к краю тумбочки. Тарелка звякнула о стакан.

— Не будете? — спросила раздатчица.

— Нет.

— Так и стоит.

— Пусть стоит.

Она забрала. Убрала бы уже эту вонь. Он ничего не сказал. Он давно заметил, что в больнице все разговаривают вежливо и коротко, и подумал, что это, наверное, потому, что здесь всем всё равно, а на «всё равно» вежливость тратится легче. На первой койке, у окна, лежал дед. Глухой почти совсем. Ему включили телевизор на всю громкость, и он смотрел передачу про то, как выбрать хороший творог. Смотрел с интересом. Иногда кивал.

На второй лежал мужик лет сорока после операции на кишечнике, и он с утра до вечера сидел в телефоне, повернувшись к стене. Виктор Аркадьевич за три дня слышал от него два

слова. На четвёртой храпел. Даже днём. На пятой был кто-то тихий, который всё время спал. Шестая и восьмая стояли пустые.

А на третьей лежал мужчина с кислородной маской. Мужчина с третьей койки лежал здесь дольше всех. Худой, с руками в синяках от катетеров. Он почти не двигался, но говорил, тихо, потому что маска съедала половину слов, а вторую он экономил. Виктор Аркадьевич не знал, как его зовут. Три дня рядом, шесть метров, и он не знал.

Спросить было можно в первый день. Во второй уже неловко. В третий поздно.

К мужчине с третьей каждый день приходила дочь, и всегда с пакетом, и в пакете были мандарины. Мандаринов здесь навалом, они лежат в каждом ларьке круглый год. Мандарины он не ел. Они лежали на тумбочке и постепенно ссыхались, и она приносила новые, и старые убирала, и уносила с собой.

Сегодня она пришла в двенадцать с чем-то. Села на табуретку, поставила пакет на пол, достала телефон.

— Пап, ну как ты?

Он что-то ответил под маской.

— Ну хорошо. Хорошо. Врач был?

Он кивнул.

— Что сказал?

Он повёл рукой. Что-то вроде: да ничего. Она посмотрела в телефон. Потом опять на него.

— Мама привет передавала.

Он кивнул. Виктор Аркадьевич лежал на седьмой и смотрел в потолок, но слышал каждое слово, потому что в палате все слышат всё, и это первое, к чему привыкаешь, и последнее, с чем миришься. Не передавала. Он не знал, откуда это взялось. Просто было слышно по голосу. Так говорят, когда придумывают на ходу, чтобы заполнить.

Он подумал, что Нина ему тоже, наверное, будет так говорить. Что-нибудь передавать от людей, которые ничего не передавали. Мужчина с третьей заговорил сам. Тихо. Сначала было не разобрать.

— Мы тогда... в сентябре...

Дочь подняла голову от телефона.

— Что, пап?

— В сентябре ездили. Помнишь.

— Куда?

— Ну... туда.

Он подождал, набрал воздуха. Воздух давался ему тяжело, и было слышно, как он его собирает.

— Народу уже не было. Пусто. И вода тёплая.

— А, — сказала дочь. — Ага.

— Ты боялась далеко.

— Я не боялась.

— Боялась.

Он попробовал улыбнуться. У него не получилось всем лицом. Поднялся только левый угол рта, а правая половина осталась лежать. Дочь опять посмотрела в телефон.

— Пап, я тебе яблоки хотела, но там очередь была.

— Я хотел ещё раз, — сказал он. — Туда. Думал, весной...

Слова «море» он не сказал. Ни разу. А Виктора Аркадьевича уже несло. Он снабжал санатории двадцать два года. Весь этот город работал на приезжих, и он работал на приезжих, только не встречал их, а обеспечивал. Кафель, краска, простыни, посуда, насосы, всё. Через него шло, и он знал всех, и все знали его.

А город тридцать лет достраивался.

Все, кто здесь жил, лепили во дворе флигель. Комнату, вторую, веранду, потом второй этаж, потом лестницу снаружи. Потому что июнь, потому что приедут, потому что койка — это койка. И на всё это нужен был кирпич, которого не было, и шифер, которого не было, и цемент, доска, труба, кран.

А у него было. Он не брал.

Взял, и разошлись, и человек тебе больше никто. А он брал другим. Он брал тем, что человек поднимал себе шесть коек во дворе и потом восемь лет здоровался с ним первым, и жена этого человека звала Нину на все дни рождения, и сын этого человека потом достал Вадиму военник.

К нему приходили домой. Вечером, в тапках с лестницы, с бутылкой, которую он не брал. Нина ставила чай и уходила на кухню, и оттуда было слышно, как она моет посуду, которую уже мыла. Себе он тоже построил. Две комнаты и веранду, и отдельный вход со двора, и душ из бочки.

Тридцать лет с июня по сентябрь в их дворе жили чужие люди. Они приезжали отдыхать, и она стирала за ними, и меняла им простыни, и вешала их сушиться, и снимала, и опять стелила, и опять стирала. Тридцать сезонов подряд. В восемьдесят шестом она попросила. Она никогда ничего не просила, а тут стояла в дверях с полотенцем и сказала: Вить, а в Ленинград? И он сказал: на следующий год обязательно. Он тогда правда так думал.

А на следующий год был июнь. И через год июнь. И через год. Зимой не поедешь, зимой она сама болела. А летом стояли жильцы. За столько лет она не выезжала отсюда никуда. Сапоги привозил. Финские, потом югославские, потом ещё какие-то. Ковёр привёз, стенку достал, гараж достал, Марине квартиру.

Ленинграда она не увидела. Она стояла в дверях с полотенцем и спросила один раз. И вдруг стало тепло под правым бедром. Сначала он подумал, что это грелка, но грелки не было. Потом что подтекает система, но система была в левой руке. А тепло шло снизу, растекалось медленно и уже добралось до поясницы, и тогда он понял.

Он не почувствовал, как это началось. Вот что было хуже всего. Мокрое ладно. Хуже было то, что он не почувствовал начала. Пятьдесят лет тело докладывало ему заранее, а теперь оно перестало докладывать, и делало что хотело, и ставило его перед фактом. Он лежал не шевелясь. Первая мысль была про Нину.

Нина приходила к четырём. Всегда к четырём, потому что в три у неё автобус, а раньше она не успевала, и позже не хотела, и за годы их брака это не сдвинулось ни разу. Значит, у него четыре часа. Четыре часа, чтобы это исчезло. Его мать умирала дома, в ноябре девяносто первого.

Он тогда возил на «жигулях» кафель из Новороссийска, потому что кафеля не было нигде, а у него был, и всю осень он мотался туда-сюда по серпантину, и заезжал к матери между рейсами. Она лежала в маленькой комнате, где раньше стоял его диван.

Она уже не вставала. Пелёнки в аптеке были только детские, и он доставал через одну женщину настоящие, взрослые, откуда-то из больницы, и привозил пачками, и складывал в шкаф, и был этим горд. Он тогда всем всё доставал. Он умел. И вот он подтыкал под неё эту пелёнку, а она отворачивалась к стене.

Он подтыкал, и говорил что-то бодрое, что-то вроде: мам, ну ты чего, мам, всё нормально. А она молчала и смотрела в стену. Он тогда подумал, что она обиделась. Или что ей больно. Или что она уже не сообщает. Он тридцать пять лет думал, что она уже не сообщала.

Она сообщала. Она просто не хотела, чтобы он видел её лицо, пока он это делает.

И вот он лежит и понимает, что всё это время можно было понять, и понять было не трудно, и никто не мешал, и мать умерла с этим, и он ей не сказал ни одного слова, которое было нужно, потому что был занят кафелем и был этим горд, и

— Пап?

Он открыл глаза. Дочь мужчины с третьей койки стояла, наклонившись к отцу.

— Пап, ты что хотел весной?

Мужчина смотрел мимо неё, в стену. Глаза у него были открыты.

— Пап.

Она взяла его за запястье. Так берут вещь, которую подозревают в неисправности.

— Папа. Не спи. Ты что хотел весной?

Виктор Аркадьевич приподнялся на локте. Он сам не понял зачем. Тамара Ивановна вошла быстро. Сначала посмотрела на монитор, потом на мужчину. Оттянула ему веко. Прижала два пальца к шее сбоку и постояла так секунды четыре. Потом сняла маску. Вот это оказалось страшнее всего. Пока маска была на лице, лечение продолжалось. Сняли, и всё, что происходило в палате три недели, отменилось задним числом.

— Позовите Льва Петровича, — сказала Тамара Ивановна в дверь.

— Что случилось? — спросила дочь.

Ей не ответили.

— Он же говорил только, что. Он говорил.

Тамара Ивановна отключала систему.

— Он говорил, — сказала дочь громче. — Я не поняла, что он хотел весной.

Она наклонилась к самому лицу.

— Папа. Куда ты хотел? На море? Пап, в Веселовку, да? Пап?

Лев Петрович вошёл, послушал грудь в двух местах, посмотрел на часы.

— Двенадцать сорок семь.

— Что двенадцать сорок семь? — спросила дочь.

Он посмотрел на неё. У него было для этого лицо. Усталое, ничего не обещавшее.

— Время смерти.

Она сказала:

— Нет.

Потом:

— Нет, подождите. Он не договорил.

Она схватила отца за плечо и встряхнула. Голова качнулась легко, чужим движением. Нижняя челюсть отошла вниз и осталась. Дочь отдернула руки. И отступила на шаг. Виктор Аркадьевич смотрел на неё с седьмой койки и видел точно, что с ней происходит. Пять минут назад она держала его за запястье. Теперь она стояла в шаге от кровати и не могла заставить себя подойти.

Она испугалась его.

— Закройте ему глаза, — сказала она.

— Они могут открыться, — сказала Тамара Ивановна.

— Почему?

Тамара Ивановна не ответила. В палате стало очень тихо. И в этой тишине из шестой, через стену, стало слышно, как женщины смеются. Там смеялись двое или трое, негромко, и одна что-то досказывала, и на этом опять засмеялись. Потом заскрипела кровать. Потом кто-то попросил подать телефон. Там не знали.

Их разделяли шестнадцать сантиметров кирпича и штукатурка с двух сторон, и на той стороне было четверть второго обычной среды. Деду у окна убавили телевизор, и он не заметил, и продолжал смотреть про творог, шевеля губами. Мужик со второй койки повернулся к стене и лежал не шевелясь. Он не спал. Виктор Аркадьевич видел, что он не спит.

На четвёртой перестали храпеть. Тоже, значит, слушали. На третью койку смотрел один Виктор Аркадьевич, и то потому, что лежал напротив и не мог отвернуться, потому что мокрое под ним растекалось дальше и любое движение погнало бы его в стороны. Он лежал в соб-

ственной моче. В шести метрах от него лежал человек, умерший десять минут назад, и стояла его дочь и повторяла про какую-то то ли деревню, то ли место на море.

А он думал, успеет ли Люба поменять простыню до четырёх. Ему стало стыдно. А потом стало стыдно, что стыдно.

Потому что стыд тоже про себя. Про то, какой я, оказывается, хороший, что мне стыдно. И он поймал себя на этом и разозлился, и злость была на себя, и от неё стало жарко в лице, и он подумал, что сейчас, наверное, покраснел, и хорошо, что все смотрят в другую сторону.

Мужчина с третьей койки больше не думал ни про море, ни про то, как он выглядит со стороны. А Виктор Аркадьевич думал. Значит, был жив. Он полежал с этим немного и понял, что это единственное утешение, которое у него есть, и что оно паршивое.

Люба принесла ширму. Ширма была на колёсиках, одно колесо не крутилось, и она тащила её по кафелю с таким звуком, что дед у окна наконец обернулся.

— Выйдите пока, — сказала Люба дочери.

— Я останусь.

— Мне его обмыть надо.

Дочь посмотрела на отца. Потом на Любу. Потом опять на отца, но уже коротко.

— Хорошо.

Она взяла сумку, взяла телефон и взяла пакет с мандаринами. У двери остановилась.

— А документы где получать?

Люба показала подбородком в сторону поста. Дочь вышла. Ширму поставили. За ней зашуршало.

— Тяжёлый, зараза, — сказала Люба.

— Держи под лопатку, — сказала Тамара Ивановна.

Никто не сделал им замечания. Некому было. Виктор Аркадьевич лежал и слушал, и по звукам понимал всё: вот сняли, вот повернули, вот подложили, вот ведро. Он подумал, что через сколько-то дней за этой ширмой будет он. Подумал спокойно. Без ужаса. Про командировку, на которую уже согласовали и осталось собраться.

Потом стало тянуть в правом боку, и он про это забыл. Ширму убрали через двадцать минут. Койка стояла голая. Матрас в полосочку, посередине тёмное пятно, вытянутое, с неровным краем.

Люба вернулась с тряпкой и ведром и стала тереть матрас. Тёрла долго, с усилием, и матрас ездил, и она придерживала его коленом. Потом ушла и принесла другой матрас. Потом принесла постельное. Простыню она раскатывала одним движением, от себя, и та ложилась ровно, и Виктор Аркадьевич смотрел на это и думал, что это делается тысячу раз и оттого делается хорошо.

Она заправила углы. Взбила подушку двумя ударами ладони. Накрыла одеялом и подоткнула с одной стороны. Койка у окна стояла чистая. Люба подошла к седьмой.

— Ну что? — спросила она, не глядя.

Виктор Аркадьевич молчал.

— Мокрый?

— Да.

— Ну лежи, сейчас.

Она ушла и вернулась с пелёнкой и с чистой простынёй. Откинула одеяло, посмотрела, ничего не сказала. Взяла его за плечо и за бедро и повернула на бок, к стене, одним движением, и ему в лицо оказалась стена, крашенная в бледно-зелёное, с трещиной от розетки вверх.

Он лежал носом в стену и чувствовал, как из-под него тянут за угол. Тянут и не морщатся. Он смотрел на трещину и не отворачивался, потому что отворачиваться было уже некуда.

— Спасибо, — сказал он.

Люба не ответила. Она уже подтыкала с другой стороны. Это было первое спасибо за три дня. Он посчитал.

— Обратно давай.

Она повернула его на спину. Поправила рубаху. Натянула одеяло до груди.

— Пить хочется, — сказал он.

— Нельзя вам.

— Полглотка.

— Нельзя.

Она собрала мокрое в комок, мокрой стороной внутрь, и понесла к двери.

— Люба.

Она обернулась в дверях.

— Чего?

— А как его звали?

— Кого?

Виктор Аркадьевич показал глазами на третью койку. Люба посмотрела туда. Койка стояла застеленная, гладкая, с подушкой углом.

— Не знаю, — сказала она. — Мужчина с третьей.

И вышла. Он лежал и смотрел в потолок. Дед у окна снова сделал телевизор погромче. Там теперь была реклама. Виктор Аркадьевич подумал, что койка у окна лучше. Там свежее. И окно открыть можно, если с дедом договориться, а с дедом договориться не вопрос, дед глухой, ему всё равно.

Надо будет сказать Вадиму. Вадим решит.

Глава 6 Третий день, ночь

В два часа ночи она села на кушетку в процедурной и первый раз за смену осталась одна. Кушетка была узкая, дерматиновая, холодная снизу. Даша поджала под себя ногу и сидела так, обхватив колено, и смотрела на шкаф с ампулами, и ни о чём не думала. За полтора года Даша научилась одному: если выпала минута, сесть и выключиться. Не отдохнуть — просто стать пустой до следующего вызова.

За стеной кто-то кашлял. Кашель шёл из седьмой, глухой, старческий, с той нижней хрипотцой, которую она уже научилась различать и знала, что это надолго. Смена была тяжёлая с вечера.

В десятой умирала бабушка, не эту ночь, так следующую, и дочь сидела при ней, и дочь была из тех, кто всё время выходит на пост и спрашивает. Она спрашивала каждые двадцать минут одно и то же: ну как, ну что, ну сколько.

Даша отвечала одинаково: состояние стабильное. Это была неправда, и они обе это знали, но слова были удобные, за них можно было держаться. В четвёртой мужик после операции требовал курить. В шестой женщина ходила в туалет восемь раз, и каждый раз надо было вести, потому что одна она падала.

А в седьмой лежал этот, новенький, дед, которого привезли позавчера, и он был тихий, он не требовал ничего, но от него было тяжелее, чем от всех остальных. Она не любила таких. Не то что не любила. Их нельзя не любить или любить, они пациенты. Но были такие, от которых внутри делалось тяжело, и этот был такой.

Он не жаловался. Вот в чём было дело. Все жаловались, это нормально, человеку плохо, он жалуется. А этот лежал и молчал, и смотрел в потолок, и когда она подходила, он говорил «спасибо, дочка» таким голосом, что лучше бы жаловался. Она заходила к нему в двенадцать менять капельницу. Он не спал.

— Не спится? — спросила она.

— Да я вздремну, — сказал он. — Ты иди.

И она пошла. Она потом полночи про это думала, про это «ты иди». Выходило, что это он о ней позаботился, а не она о нём. Телефон в кармане халата дёрнулся. Она не достала. Потом дёрнулся ещё раз. Она достала, глянула: не мать. Убрала. Она посмотрела на свои руки.

Руки были в порядке, только кожа на костяшках потрескалась от антисептика, у всех тут такая. Она мазала кремом, крем не помогал. Ей было двадцать три.

Она подумала, что через час надо колоть седьмого и одиннадцатого в другой палате, потом в пять забор, потом пересменка, потом домой, потом поспать до двух, потом семинар в четыре, а к семинару она не прочитала, и не прочитает, потому что после суток не читается ничего.

У неё был семинар по гражданскому праву. Она про это не думала днём, на работе про это думать было нельзя, засмеют. Тут одна девочка проболталась, что учится, так ей потом полгода говорили: ну что, адвокат, подай судно. На юрфак она пошла не из книжной мечты. Надоело выполнять. Врач сказал — сделала. Старшая велела — пошла. Родственник накричал — проглотила.

Юрист, как ей тогда казалось, мог открыть кодекс и сказать: вот так можно, а так нельзя. И его не сдвинут. Ей хотелось быть той, кого не сдвинуть. В седьмой опять закашляли. Она послушала. Кашель был другой теперь, он шёл приступом, и она подождала, встанет он или нет, и он не вставал, и она слезла с кушетки и пошла.

Дед сидел. Он подтянулся на подушке и сидел, согнувшись, и кашлял в кулак, и его трясло.

— Ну что вы, — сказала Даша. — Погодите.

Она подошла, подложила ему вторую подушку под спину, налила воды.

— Пейте маленькими.

Он выпил. Кашель отпустил. Он сидел, тяжело дыша, и она стояла рядом и держала стакан, и в палате спали ещё трое, и один храпел.

— Спасибо, дочка, — сказал он.

— Да не за что.

— Ты чего не спишь? Ночь.

— Работа такая.

Он посмотрел на неё.

— Учишься? — спросил он.

Даша удивилась.

— С чего вы взяли?

— Да у тебя вон, — он показал глазами. — Тетрадка из кармана торчит. Кто ж на работу тетрадку носит.

Она достала тетрадку и сунула глубже. Это была не тетрадка, это были распечатки к семинару, она их свернула и таскала с собой, чтобы хоть в маршрутке глянуть.

— Учусь, — сказала она. — На юриста.

Она сама не поняла, почему сказала. Она никому не говорила, а этому сказала, деду из седьмой палаты, в два часа ночи. Наверное, потому что он всё равно не запомнит. Она подумала так, и сама испугалась этой мысли, но мысль уже была: он всё равно, ему можно сказать, он никому не разболтает, потому что.

— Юрист, — сказал дед. — Это хорошо.

Он помолчал.

— Это хорошо, — сказал он опять. — Юрист всегда при деле. Люди-то как. Люди без бумажки никуда.

— Строгая будешь? — спросил он.

— В смысле?

— Ну, юрист. По закону, значит, всё. Или как.

Даша не поняла вопроса.

— По закону, — сказала она. — А как ещё.

Дед посмотрел на неё. Он смотрел странно, снизу, и в глазах у него было что-то, чего она не разобрала. Не насмешка. Но и не простое что-то.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.